

Нормальная история

Автор:

Владимир Сорокин

Нормальная история

Владимир Георгиевич Сорокин

В сборник “Нормальная история” вошли статьи и эссе Владимира Сорокина, написанные и выходявшие в 2010-е. В нехудожественной прозе автор не изменяет любимым темам: еда и питье как проявления национального характера, Москва и Берлин, взаимопроникновение жизни и литературы. Из небольших заметок вырисовывается сотканный из деталей стиля и быта точный портрет двухтысячных, неумолимо становящихся прошедшей эпохой. Особого внимания достойны тексты о художественной среде восьмидесятых, сформировавшей Сорокина как писателя. Называя последнее десятилетие существования СССР “разрывным временем”, когда “процесс стал теснить состояние”, Сорокин показывает, как стремительно разрывало тогда привычную картину мира, отказывалось от рамок неподцензурное искусство. Это свидетельство участника “процесса” ценно не только для историков искусства, но и для рядового обывателя, у которого восьмидесятые ассоциируются то ли с бесконечной очередью, героиней и сюжетом первого романа Сорокина, то ли с партийным санаторием. Для современника, не слышавшего в те времена имперского распада о Пригове, Кабакове и московском андеграунде.

Владимир Сорокин

Нормальная история. Сборник эссе

© Владимир Сорокин, 2019

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

* * *

Москова

– Москова-а-а-а-а...

Рот растягивается то ли в зевоте, то ли в недоумении-удивлении:

– Москова?!

Что-то болотисто-лягушачье в названии столицы нашей, одновременно с чем-то бабьим, румянощеким, жопасто-грудастым, и с отрыжкой после сытного обеда, в зевоту переходящую, и с деревенской спесью, задором, надрывным окриком, пердежом, гордостью и спесью, теперь уже столичной:

– Мы – Москова, а вы кто такие?!

Более полувека обитаю в этом городе и в окрестностях его, а что такое Москова – так до конца и не понял. Город? Деревня? Страна? Государство в государстве?

Столица. Вот слово, вроде бы все объясняющее и ставящее на место. Но пожужь его, пожужь – и выплюнешь: мало в нем проку, ничего по сути не проясняет. Ну, столица. Столиц в мире много. А образ ее каков? Суть в чем?

Место, где стоит вертикаль власти. Где сходятся все пути государственные. Это понятнее. Голова огромного имперского дракона. Ставшего теперь бронтозавром. Все нервы и вены от гигантского многовекового туловища тянутся сюда.

Мегаполис, в который несут и везут со всех концов страны. И едут с челобитными. Например, из Горного Алтая. Едут с челобитными на лошадях по горным тропам, с кожаными кошельми золота и изумрудов, под охраной ратников, потом пересаживаются на “мерседесы” с мигалками, укладывают кошельми в багажники, едут в Кремль.

На картах географических Москва круглая. Яйцо эдакое, с белком спальных районов и желтком центра. А в желтке – бордовый треугольник: Кремль. Как зародыш в яйце из-под деревенской курицы.

Созерцание Кремля еще в детском возрасте вызывало оторопь: как-то торжественно и страшно, везде милиционеры, флаг, а рядом еще мумия желтая в сундуке малахитовом лежит, которую надо всем с детства почему-то любить, куранты бьют грозно... Вводили в Кремль за руку, показывали и рассказывали: вот Царь-пушка, вот Царь-колокол. Чудовища! Зев Царь-пушки, готовый тебя проглотить, а потом выстрелить тобою во врагов России. А колокол, который треснул, как мне всегда казалось, от самооглушения...

Нет, от Кремля, от сталинских высоток, от “челюсти” Нового Арбата хотелось бежать в московские переулки. В них была прелесть. Уют. Они до сих пор человеческого размера. Наверное, единственное по-настоящему городское в Москве. Кривоколенный, Столовый, Гнездниковский, Староконюшенный... В них хорошо было гулять, разговаривать, пить портвейн и целоваться. Было. Ибо теперь они забиты дорогими и грязными автомобилями. Они стоят там даже ночью. Целоваться рядом с ними как-то не очень эстетично...

Очаги человеческого в Москве: переулочки да бульвары. Да еще дворы московские. Хотя дворы нынче все перекрыты шлагбаумами, словно это государственные, запретные зоны. Увы, из уюта переулков быстро вырастаешь и выходишь на проспект. А там высотки, поток машин, ветры государственные и энергии социальные... неуютно.

Что теперь с Московвою-то?

Как-то много всего. После сталинского, хрущевского и брежневского по ней прошли еще пара мощных катков: лужковский и собянинский. Катились быстро, нахраписто, дорого, оголтело и безвкусно. Сперва строили ларьки у метро, потом в одночасье их сносили. Ломали старые здания. Асфальт сменили

на плитку. Еще раз. И еще раз. Плитка дышит кладбищенско-казенным духом. Москва теперь как бы зачищена под сталинско-брежневский эталон государственной столицы. В духе дня, как говорится. Нынче в моде застой. Выметено все чисто. Ярко освещено. Стоят светящиеся украшения, напоминая праздники в детском саду. Прносятся государственные эскорты с мигалками.

Чистая, подмороженная Москва.

Она дышит высокомерным пространством отчуждения от человека.

Есть новизна, есть роскошь, сразу нагло бросающаяся в глаза. Но нет уюта. Полно дорогих, сногшибательных ресторанов. Но крайне мало недорогих и уютных.

С каждым днем убеждаюсь: в этом городе по-настоящему счастливы чиновники, электронно-платежные системы и автомобили. Это их город. Обычного человека Москва по-прежнему не замечает, как и в советское время. Она его перемалывает в некий биофарш, обслуживающий чиновников, машины и банкоматы. А при случае – пережует и выплюнет.

А уж про экологию и биоэнергетику и говорить страшно...

Мне возразят: в этом и есть новый московский стиль. Наверно. И стоя в пробках из грязных машин, я себя убеждаю: да, это и есть моя Москва. И другой не будет. Ее надо любить. Я старался это делать в семидесятые, когда она была пустоватой, с очередями и лозунгами, вроде “Партия – бессмертие нашего дела!”, в новорусские девяностые, когда быстро и курчаво строили, стараюсь и сейчас, в вертикальновластные, плиточно-бордюрные нулевые.

И с каждым днем понимаю, что близка мне по-настоящему только Москва конца XIX века. И по размеру, и по стилю. И по духу. Кинохроника той Москвы завораживает. О такой Москве приятно мечтать, стоя в пробке на Ленинском проспекте. Хочется нырнуть туда и оказаться на ее нешироких улицах человеческого размера с рысаками, калачами, Хитровкой, Охотным Рядом, Сухаревкой, городовыми, гимназистками, юнкерами, дамами, господами, приказчиками и половыми, говорящими на настоящем русском языке. Язык современной Москвы писателю может быть приятен разве что феноменологически.

Да, у той Москвы было свое лицо. Поэты объяснялись ей в любви: “Я люблю этот город вязевый”, “Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли – Москва”, “Москва! Как много в этом звуке...”, “Как бы дым твоих ни горек труб, глотать его – всё негя!”, “Здесь чудо – барские палаты с гербом, где вписан знатный род; вблизи на курьих ножках хаты и с огурцами огород”.

Увы, огороды с огурцами давно закатаны асфальтом, который сменили на государственную плитку.

Лицо современной Москвы состоит из шрамов.

Ей досталось в двадцатом веке и достается в двадцать первом.

Каменный рот города открывается:

– Москова-а-а-а-а-а...

То ли крик, то ли стон.

Город, изнасилованный вертикалью власти.

У маркиза де Сада в “Новой Жюстине” был чудовищный персонаж, русский граф Минский, обладающий колоссальным, никогда не опадающим фаллосом. Акт с Минским был смертелен для избранницы: раздавался “печальный треск костей”, и все кончалось.

Трещат, трещат косточки румяной Московы.

Сила страсти Вертикали Власти!

И что делать москвитам?

Выхода два:

Жить здесь дальше.

Бежать, бежать с котомкой за спиной в широкий шум задумчивых лесов...

Подмосковья

Эпизод 1.

Тебе восемь. Лето. Ты сидишь в саду в шезлонге, листая большую книгу про Мюнхгаузена. Друг выбивает подпорку шезлонга, ты падаешь назад, шезлонг складывается, твой правый мизинец попадает между рейками. Верх пальца срезан, ноготь болтается на ниточке, ты бежишь домой, плача и брызгая кровью.

Через пару недель, учительница музыки: "Гамму таким пальцем уже не сыграть". Короткий пятый отчаянно-бесполезно клюет клавиши, пахнущие бабушкиным уютом.

Эпизод 2.

Ты в третьем классе, она в первом. По дороге из школы вы узнали от пятиклассника о том, что делают взрослые по ночам. Зимний вечер, луна в облаках. Куча угольного шлака, куда истопник только что выбросил горячий шлак. Снег шипит, и пахнет кислым. Стучит электричка, полаивает собака. Стоя за кучей, вы пытаетесь совершить свой первый половой акт. Варежки болтаются на резинках, партнерша, подняв коротенькую шубку и спустив рейтузы с трусами, смеется и отстраняется: ей щекотно. Ничего не выходит. Но ощущение теплого, ускользающе-желанного женского тела остается навсегда.

Эпизод 3.

Тебе одиннадцать. Школа. Тыходишь в туалет. Там курят старшеклассники. Звонок на урок. Вдруг резкий удар в лицо. Цветовые радуги в твоих глазах. Смех. Они уходят, выдыхая дым. Ты один в туалете. Стоишь у замазанного белым окна. Плюешь на подоконник. Видишь, как твои слезы смешиваются с кровью на подоконнике.

Эпизод 4.

Тебе тринадцать. Сухое лето. Оседлание велосипеда, выруливание по песчаной тропинке от сарая к воротам. Выезд за ворота на Первомайскую улицу, первый сосновый корень под колесом, второй. Старший друг детства у калитки соседнего двора. В его правом кулаке смятый рубль, украденный у родителей. Левая рука держит сумку с пустой бутылкой. Друг садится на багажник. Велосипед вихляет по песку, усыпанному сосновыми шишками. Путь до станции. Пристанционная площадь с подсолнечной шелухой и окурками. Палатка. Очередь в четыре человека. Рубль и пустая бутылка исчезают в руках продавщицы. Вскоре она протягивает бутылку, наполненную портвейном "777". Друг закупоривает ее припасенной газетной пробкой, убирает в сумку. Путь назад. И за сараями, на досках, в бузине – первый в жизни глоток портвейна.

Эпизод 5.

Тебе тринадцать. Августовский пыльный вечер. С толпой ты вываливаешься в темноту из летнего кинотеатра, где только что посмотрел "Великолепную семерку". Ты натыкаешься на темных людей, оторопело озираешься по сторонам: за эти полтора часа ты совершенно забыл, кто ты, как тебя зовут и на какой улице твой дом.

Эпизод 6.

Тебе четырнадцать. Под впечатлением от замусоленной тетрадки с подпольной школьной эротикой ("Возмездие", "В бане", "Маркиза" и т. д.) ты написал эротический рассказ "Яблоки", для пущей важности сказав, что перевел его из американского журнала "Лайф". Рассказ принимается на ура, никто и не заподозрил, что это твой рассказ. Тетрадка с твоим рассказом бесследно растворяется в школе.

Эпизод 7.

Тебе пятнадцать. Зима. Реденький снежок. Приятель принес маленькую гибкую пластинку, вырезанную из рентгеновского снимка. Он говорит, что на пластинке

записана песня тех самых битлов. Ты вставляешь пластинку в проигрыватель радиолы “Ригонда”. Звучит Can’t Buy Me Love. Вы прослушиваете пластинку семь раз. Друг оставляет ее тебе. Ты прослушиваешь ее еще раз восемь.

Подмосковья...

Вспомнить. И не вернуться.

Первомат

Это был красивый и теплый осенний день. Пожелтевшие листья готовились к своему полету. Я брел из школы по главной улице подмосковного поселка. Впереди шла корпулентная мама кудряво-веснушчатого Юрки, держа его за руку. За ней поспешали, щебеча, две девочки из нашего 2-го “А”. На девочках были белые переднички, в косичках колыхались огромные банты.

Я брел сзади, раскручивая над головой мешок со сменной обувью. На мешке было вышито мамой: ВОВА С. Это определило мою школьную кличку в новом учебном году. Вовас изображал вертолет, крутя мешок и издавая ртом соответствующие звуки. Мама Юрки, которой было поручено проводить меня до дома, шла, не обращая на мой “вертолет” никакого внимания.

Стояло первое сентября. Только что мы, подмосковные школьники, отсидев укороченный день в зелено-коричневой, пахнущей скукой школе, разбредались по своим дворам. Шли самостоятельные старшеклассники и первоклашки с бабушками. Брели с тертыми портфелями хулиганистые детдомовцы. Бодренько похохатывали пяти-шестиклассницы, достойно несли свою взрослость восьмиклассницы.

Главная улица пересекала единственную в поселке площадь. На которой строился из белого кирпича кинотеатр “Восход”. В котором мне доведется еще посмотреть “Спартак”, “Трех мушкетеров”, “Анжелику” и “Фантомаса”.

Возле этого строящегося храма общественных снов все и произошло.

Белые кирпичи клали ничем не привлекательные каменщики. К храму параллельно улице шла свежерытая траншея. Параллельно траншее лежали длинные черные трубы. Вид этих новеньких, облитых блестящим битумом труб заинтересовал. Заглушив свой “вертолет”, я остановился. Из траншеи послышалось кряхтение, и показались два мужика в промасленных ватниках и кепках. Лица их были цвета земли, которую они только что копали. Они были сумрачны. Мимо них проплыла мама Юрки. Один из мужиков проводил ее колышущийся зад своим взглядом, сплюнул и тяжело вздохнул.

– Чего вздыхаешь? – спросил другой, доставая папиросу и вставляя в свои стальные зубы.

– Не ебался давно, – ответил тот и почесал под кепкой.

– Вот как! – рассмеялся стальнотрубый.

Он закурил, заметил приближающихся восьмиклассниц и пихнул напарника ватным локтем в ватный бок:

– Ты это...

– Чего? – нахмурился тот.

– Вон, малолеток еби. – Он выпустил дым в сторону восьмиклассниц.

– На хер они мне сдались... – с обидой пробормотал другой.

– А чего? Малолетки – сладкие.

– Ты чего, пробовал?

– А как же! – шире заулыбался стальнотрубый.

И подождав, когда ноги восьмиклассницы поравнялись с его земляным лицом, произнес:

– Такую выебешь – оближешь.

Девочки прошли. Мужики проводили их долгими взглядами. Потом стальнотубый заметил меня, подмигнул и скрылся в траншее. Его напарник натянул свою кепку на глаза, сплюнул и тоже исчез в земле.

Траншея опустела, словно и не было никакого разговора. Но слова двух этих подземных обитателей застряли в голове восьмилетнего Воваса. За словами стояло что-то тайное, важное и преступное. Повторяя их, я побрел дальше, до поворота на Первомайскую, где ждала Юркина мама...

Я вошел в наш просторный двор и остановился. Во дворе белели четыре одноэтажных дома и один двухэтажный. В домах жили геологи и геофизики. Слов, которые произнесли подземные мужики, в нашем дворе никто никогда не употреблял. Родители и бабушка были на работе. Дома с пирожками и бульоном меня ждала пахнущая мазью Вишневского прабабушка. Почему-то я был уверен, что прабабушка этих слов не знает.

Возле сараев раздался выстрел из самодрачки. Я пошел на этот звук. Сидя под бузиной, Андрей и Колька набивали самодрачку спичечными головками. Возле них висело приятно пахнущее гарью облачко. Колька был на четыре года старше нас с Андреем.

– Сорока, – сказал Колька, быстро глянув на меня, и снова склонился над самодрачкой.

– А что такое “ебать”? – спросил я.

Колька поднял голову, прекратил свою работу. И произнес вполне серьезно:

– Сейчас расскажу.

И рассказал.

Симбиоз?

Однажды душным токийским майским вечером, когда цикады окончательно сходят с ума, а заходящее солнце посылает свой прощальный луч билдингу ISETAN, мой шахматный компьютер Mephisto уберег меня от тяжких увечий...

Звучит вполне как начало пелевинского рассказа.

Однако это правда.

Тогда я приехал в Токио по приглашению университета Гайго и поселился в университетском мини-кампусе в зеленом одноэтажном пригороде Кичиджэжи. Моя двухэтажная квартирка выходила окнами в крошечный садик, в котором мог поместиться разве что снеговик, вылепленный мною позже, зимой, из стремительно выпавшего и не менее стремительно таявшего снега.

Собственно, это был первый вечер в Стране восходящего солнца. Поужинав, я сел за партию с моим железным партнером. Мы разыграли, кажется, королевский гамбит, и вдруг – все затряслось. Причем и в комнате, и за окном. Впервые в жизни я увидел землетрясение: черепичные крыши соседних домиков закачались, как лодки, готовые уплыть во времена бусидо, ниндзюцу и Басё.

Первые секунды: паника. Наверно, это и есть то самое “выдвижение в ничто”, описанное чувствительным Кьеркегором...

Уважаемые профессора Гайго не успели предупредить гостя из неподвижной России, что Японию трясет регулярно, раза три в месяц непременно.

Голова лихорадочно заработала: что предпринять? Попробовать спуститься вниз по узкой винтовой лестнице или кинуться в окно со второго этажа? Тряска продолжалась. Внизу звенела посуда. Я решился: головой в окно! И тут компьютер пискнул ответным ходом, я инстинктивно скосил глаз: ферзь d8 – f6. Этого мгновения было достаточно, чтобы прийти в себя. Вид шахматной доски напомнил о выдержке. Я замер: подожду мгновенье. И тряска прекратилась.

Речь пойдет не о шахматах, а о железном друге. Если бы компьютер не пискнул, я бы вылетел в окно. То есть компьютер невольно помог в трудную минуту. Неважно, что он – шахматный. Этот случай символичен: у человека обозначился друг и помощник на ближайшее столетие. Собственно, ноутбуки в Японии нынче

способны и просто предупредить о подземном толчке. Да и вообще – о многом, о многом они могут предупредить, от многого уберечь. Во многом помочь. Подставить железную руку. Или волокнистую мозговую извилину.

То самое “глобальное информационное облако” уже не просто покрывает, а хочет стать тобой. И нет никакой необходимости держать в голове, например, бином Ньютона, ежели он в любой момент может всплыть на поверхности глазного яблока, которое рано или поздно станет монитором. И будут всплывать на нем ежесекундно подробности первой Троянской войны, технология изготовления графена-18, молитва “Живые в помощи Вышнего”, утренние курсы азиатских валют, трейлер новейшей экранизации “Доктора Живаго”, расписание работы фитнеса Vita Nova, цены на недвижимость в Албании, ежеквартальная банковская выписка, частушка “Ехал на ярмарку Ванька-холуй”...

Учитель уже никогда не спросит первоклашку: Вова, сколько будет пятью пять? Смысла нет: Вова с пол-оборота готов поведать о сверхтекучести гелия...

А я вот спрошу себя: хорошо ли, что компьютер мне помог?

– Ты не рад, что мы тебя тогда уберegli от увечий? – спросит ответно Мировой Электронный Мозг.

– Рад. Но не рад стремительно нарастающей зависимости от тебя.

– Что бы ты делал без меня? Ты так мало знаешь. А что знаешь – забываешь.

– Ты мне помогаешь в этом.

– Я делаю твою жизнь комфортней.

– Делая меня ленивей и неподвижней?

– Экономлю твое время.

– Чтобы я тратил его на тебя?

– Пойми, теперь без меня – никуда. Пора привыкнуть.

- Не хочу.

- Не хочешь - заставим.

- Просто как Сталин с коллективизацией...

- Ты должен идти в ногу с веком. А я помогу. Как пели Kraftwerk, "я твой слуга, я твой работник".

- Слуга, все активней и наглее влезаящий в мое тело.

- А что плохого в этом? Ты станешь сверхчеловеком.

- Перестав быть человеком?

- Симбиоз неизбежен! Смирись, гордый человек!

Затемнение. Глобальное информационное облако рассекает молния. Гремит гром. Цикады смолкают. Mephisto объявляет мне мат в шесть ходов. Я кладу своего короля на середину доски. Бреду вниз варить кофе.

Может, и впрямь - лучше было выпрыгнуть в окно?

Пыль

Если заглянуть в желудок пылесоса, все съеденное им в нашем человеческом мире - неизменно серого цвета. Но ведь присасывается жадный рот поедателя пыли к разноцветным, ярким вещам: коврам, кричаще красным диванам, синтетическим тиграм и собакам, желтым креслам, розовым стульям, синим шторам.

Пыль жилища человеческого неизменно серая. Конечно, если пытливо рассмотреть ее под микроскопом, она очень даже цветная и состоит из множества разноокрашенных ворсинок, покинувших своих шерстяных, плюшевых, шелковых и льняных хозяев. Глаз человеческий неспособен различить цвет каждого волоска, все сливается, становясь серым. Становясь пылью.

Пыль человеческая цвета пепла. Тот, кто заглядывал в урну с прахом человека, может это подтвердить. По сути своей пыль вовсе не пепел. Но призвана напоминать нам о нем. Каждое опорожнение мешка пылесоса – *memento mori*. Выражение лица человека, выбрасывающего мусор и опорожняющего пылесос, согласитесь, разное. Выбрасывание мусора у нас вызывает секундное любопытство, заглядывание в мусорное ведро, мимолетное различение отходов нашего бытования. Опорожнение желудка пылесоса, кроме кратковременного ужаса и омерзения, не вызывает ничего. Хочется поскорее от этого избавиться, сопровождая процесс избавления безусловным наморщиванием лица и бормотанием “ф-у-у...”.

Хотя, наверно, домашняя пыль гораздо стерильней содержимого помойного ведра.

Пепел, пепел нашей жизни стучит в сердце пылесоса.

Книжная пыль тоже серая. И она так же напоминает пепел. Удивительно: вроде бы книги, какое разнообразие обложек и сюжетов! А все стирается в серую пыль. Все, что человек собирает, нагромождает вокруг себя, во что одевается, что читает, на чем спит, – все становится пепельно-серой пылью. Мы словно испепеляем свой быт, сжигаем его. Если собрать всю пыль человеческую из всех пылесосов мира, вытряхнув ее на землю, мы бы оказались на спаленной планете, как после атомной войны.

А вот пыль земная всегда имеет цвет, она не серая, не безжизненная. Лунный ландшафт на Земле найти невозможно: даже в самых пустынных местах цвет будет присутствовать. Горы, леса, пашни, солончаки, такыры, пустыни и каньоны обращаются в пыль теплых оттенков. Назвать даже сероватый песок пеплом язык не повернется. Это не пепел.

В отличие от пыли человеческой, к земной пыли мы относимся терпимо. Ей позволяется скрипеть на зубах, забиваться в уголки глаз и складки одежды, виться столбом на дороге, по которой только что пронеслась птица-тройка с серьезно-усатым женихом и пьяноватыми шаферами, а дрожащий женский голос пропел:

Матушка, матушка, что во поле пыльно?

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/sorokin_vladimir/normal-naya-istoriya

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)